

Максим Горький

Вечер у Панашкина



Максим Горький

Вечер у Панашкина

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=638765

Аннотация

«Насытись вкусной духовной пищей у Шамова, – в воскресенье, вечером, я иду к Панашкину; у него тоже поучительно.

Панашкин торгует на балчуге старой рухлядью – обломками, обносками. Ему за пятьдесят лет, он болен чахоткой. Руки у него беспокойные, длинные, ноги – тонкие, шея искривлена, и на ней тревожно болтается маленькая головка с рыжими бровями ужа. Он похож на выдернутый из земли сухой корень. Сморщенная кожа его щек поросла кустиками волос мочального цвета. Фигура очень унылая, а глаза – веселые, точно Панашкин всегда видит перед собой что-то неожиданно приятное и внутренне восклицает: “Вот так штука!”

Очень любит смеяться тихим, слезно всхлипывающим смехом и, так как жизнь не удалась ему, любит философствовать...»

Максим Горький

Вечер у Панашкина

Насытись вкусной духовной пищей у Шамова, – в воскресенье, вечером, я иду к Панашкину; у него тоже поучительно.

Панашкин торгует на балчуге старой рухлядью – обломками, обносками. Ему за пятьдесят лет, он болен чахоткой. Руки у него беспокойные, длинные, ноги – тонкие, шея искривлена, и на ней тревожно болтается маленькая головка с рыжими бровями ужа. Он похож на выдернутый из земли сухой корень. Сморщенная кожа его щек поросла кустиками волос мочального цвета. Фигура очень унылая, а глаза – веселые, точно Панашкин всегда видит перед собой что-то неожиданно приятное и внутренне восклицает:

«Вот так штука!»

Очень любит смеяться тихим, слезно всхлипывающим смехом и, так как жизнь не удалась ему, любит философствовать.

– Всякий человек, каков он ни есть, должен есть, – вот те и вся премудрость! Значится: разумеете языцы и покоряйтесь! – говорит он. – В этом – и математика...

– Один умный человек сказал: «Любовь и голод правят миром», – вспоминаю я.

– Это – Дюма, что ли?

Дюма-отец – для Панашкина величайший ум. Дмитрий

Павлович прочитал все его романы по два и по три раза. А когда я уговорил его прочитать «Записки охотника», – он возвратил мне книгу, недоуменно посмеиваясь и говоря:

– Чего тебе тут нравится? Это, брат, неинтересно, как настоящая жизнь...

Настоящая жизнь обращалась с ним капризно и неласково: двенадцати лет, после смерти отца, пьяного чиновника казенной палаты, Панашкин поступил мальчиком к нотариусу, через два года перешел в табачный магазин, потом стал парикмахером, двадцати лет решил уйти в монахи, года три шлялся по монастырям, наконец свел из одного монастыря послушницу и воротился с нею на родину. Захлебываясь плачевным смехом, бессильно взмахивая локтями, точно недорезанный петух, он рассказывал:

– Пять лет жил я с нею незаконным браком, но – в сияющей любви. Это был даже не человек, а – хрусталь необыкновенной прозрачности. Умирала – взяла меня за руку, – шепчет: «Митя, добрый друг, спасибо же тебе, завяла бы я без твоей любви, как без солнца цветов». Это она, видите ли, потому, что была старше меня на двенадцать лет, да и милостью не отличалась, – ряба, курноса и... вообще... Однако душа у нее была – воистину – цветок! Замечательная душа! А красота – не для всех закон. Всякая женщина любви достойна; женщина, брат, самое лучшее божье сочинение...

Когда он говорил о жене, о женщинах, о любви, – его веселые глаза становились грустно-серьезны, а веки краснели,

набухая. Раза два-три он даже бесстыдно плакал, вспоминая жену; говорит, а из глаз бегут одна за другой мелкие, желтоватые слезы.

Жена оставила ему дочь, и с той поры Панашкин, по его словам, бегал вдоль и поперек жизни туда-сюда.

– Всё, брат, искал случая приспособиться к делу, чтобы воспитать дочонку, однако – случая не нашел...

Рассказывал он мне свою жизнь июльской ночью, в лесу, на поляне, под одинокой сосной, – я шел с ним на богомолье, отдыха ради. Он сидел, прислонясь спиной к медному стволу сосны, раздвинув длинные ноги, точно ножницы; перед ним на маленьком костре закипала вода в походном чайнике. Было душно, собиралась гроза. Меня, в ту пору, очень интересовали кроткие, много и бесполезно думающие русские люди, – нравилось мне, что они не в ладу с жизнью.

– Человек я мягкий, – ну, меня и протирали сквозь сито, – сказывал Панашкин, посмеиваясь. – Сдал экзамен на сельского учителя, – оказался неспособен к делу: играть с детишками могу, а учить – не умею! Нанялся к татарину яйца скупать по деревням, татарин меня в Швецию отправил для расширения дела; приехал я в Петербург, а в гостинице, где мне случилось остановиться, офицер со штатским поссорился, начал стрелять из пистолета да и закатил мне пульку в бок. Пролежал я в больнице полтора месяца, а у раненого у меня татариновы-то деньги и вытащили! Воротился к своему месту – хватать, – ан татарин в одночасье помер! Я – к на-

следникам: так и так, говорю, пропали ваши деньги. А они – хороший народ! – ничего, говорят, не беда! Замечательно! Поступил в окружный суд регистратором, – у меня документ важный украли. Незадача! Из суда – под суд... Оправдали, но прокурор сказал мне: «Вы – ротозей!» Есть это у меня и по сей день: вдруг задумаюсь неизвестно о чем, и никаких возгласов не слышу, ничего не понимаю...

– А – о чем думы?

– Да так, знаешь... пустяки все, вообще, – ответил он, глядя в огонь. – Думаешь, примерно: неужели и завтра ничего не случится, всё то же будет? Глупые мысли. Ждать нечего, архиереем не сделают. Так вот и верчусь всю жизнь, словно заколдованный и окаянный. Всё пробовал, даже за укрывательство краденого судился и полгода в тюрьме сидел. Оправдали. За вольномыслие в трактире арестован был на девяносто два дня. Жандарм спрашивает: «Говорил ты, Панашкин, эти самые слова?» А я – забыл какие! «Ваше благородие, говорю, извините дерзость, но – чего же я не могу сказать при моей столь запутанной жизни?» И рассказал ему всю жизнь. Он – добрый человек, – согласился: «Да, говорит, жизнь у вас безрадостна. Считаю вас свободным». – «Покорнейше благодарю, отвечаю, но собака, которая на цепи сидит, больше моего свободна, потому что она при своем месте». – «Что же, говорит, делать. Такова жизнь!» – «Так точно, говорю, живем для украшения земли несчастиями!» Смеется он.

Рассказывая, Панашкин часто спотыкался на словах и, закрыв глаза, молчал секунду-две. Казалось, он скрывает многое испытанное им, как скрывают дурную болезнь. Я заметил, что о приятном он говорит многословно, а дурное и тяжелое старается обежать скорее. Это очень понравилось мне.

– Чего вы искали? – спросил я.

Он удивленно поглядел на меня сквозь синий дымок коистра.

– Как это – чего? Чего все ищут, – сытости, покоя... принадлежности к чему-нибудь. Человек должен принадлежать туда или сюда. Была жива Капочка, то есть жена, я осязал себя ей принадлежащим, а после нее – ничего не нашлось. Конечно, – птица небесная не жнет, не сеет, так ведь она – летать умеет, одежда у нес – на всю жизнь, сапог не требуется...

Очень понравился мне Панашкин в эту ночь, и с того началась наша добрая дружба. Он живет на окраине города, в слободе, над крутым съездом к Волге, в маленькой пристройке, подпирающей бок старого, споткнувшегося дома, хозяином которого является лавочник Брундуков. Дом – в два окна, посреди их истоптанное, покосившееся крыльцо – вход в бакалейную лавку; над крыльцом нахлобучена мохнатая крыша. Стекла окон зацвели на солнце, засижены мухами, на одном окне – банки с монпансье, пряниками и другими соблазнами, в другом – торчит голова дочери Панашкина.

А на ступеньках крыльца идиолом сидит сам Брундуков, по

глаза налитый жиром, квасом, чаем. Он выпаривает себя на солнце и думает о разных премудростях. Его рыжие глазки смотрят вниз по съезду на синеватый кусок реки, следят, как по атласу воды снуют лодки, плывут белые пароходы, тащатся баржи.

Я и Панашкин помещаемся у ног его; мой друг ушивает какую-то рухлядь; на его сером носу большие очки. Праздник. На слободе тихо и пустынно, людишки отдыхают пред вечерним чаем. Дочь Панашкина тоненьким голоском поет:

Люблю ять...

– А еры – не любишь? – спрашивает отец, покашливая.

– Отстаньте, папаша...

Люблю я т-тебя бесконечно-о...

– Дурочка бесконечная! Ты лучше упражняйся в добродетели, а любовью себя не беспокой...

– Ах, да убирайтесь вы, папаша!

Дочери Панашкина уже под тридцать лет. Она желтая, рыхлая, как творог. Правый глаз у нее погашен бельмом, левый бесстыдно любопытен. Когда она спит – ее большое лицо наливается синеватой кровью, а открытый глаз похож на слепое, зловещее око совы. Лиза шьет на базар ситцевые рубахи, тиковые подштанники и мечтает о страстном романе с военным, не ниже поручика. Она тоже прочитала всего Дю-

ма, но лучшей книгой в мире ей кажется «Новейший, самый полный песенник». Романа у нее не было и нет, а пока ее телом пользуется Брундуков – от скуки, а может быть, из милосердия к уродливой девице.

– Н-да, – говорит Панашкин, толкая меня в бок острым локтем, – вот тоже любовь, – сколько люди бьются около нее, да – как!

– А как? – интересуется Брундуков, раздергивая клеенные чем-то волосы седой бороды.

Небеса на западе в крови и огне. Проедет извозчик – дорожная пыль встает с земли красным облаком.

– А – вот так, что даже до смерти!

– Это – глупость...

– Нисколько не глупость, но – самое обыкновенное... Дружок мой парикмахер Мозжухин – в еврейку влюбился...

– Парикмахеры народ бессмысленный, они всегда либо картежники, либо – еще что-нибудь...

– Конечно, – еврейка тут ни при чем, все едино – женщина, любовь с верою не считается.

– Это – плохо...

– Да, нехорошо вышло: утопился он...

– Парикмахер?

– Ну да...

– Болван.

Оборвав песнь о бесконечной любви, Лиза задумчиво тянет:

Там, где море вечно плещет
И на гранитные скалы...

И спрашивает меня:

– Максимыч, – есть какая-нибудь разница между морем и океаном?

Я отвечаю:

– В океане рыба крупней.

Я не люблю эту девицу, и мне неприятно разговаривать с нею, – ее живой глаз всегда скрывает какую-то липкую усмешку, от этой усмешки неловко, как от зазорного слова.

Панашкин скоблит ногтем свой длинный нос, расшитый красными жилками, и рассказывает, не интересуясь, слушают ли его:

– Была она вдовая, торговала вразнос чернилами да ваксой, – сама составляла... Лет тридцати женщина, и ничего особенного, – так себе: обыкновенная еврейка...

– Они все на одно лицо, – уверенно говорит Брундуков и вдруг спрашивает сам себя: – Почему это табак курить не выучился я?

– А его звали Пантелеймон, и в ту пору было ему лет... двадцать пять, что ли...

– А ты – ври без счета.

– Да, – вздыхает Панашкин, – это верно сказано: «Топор не рубит – наточишь, баба не любит – делан, что хочешь»...

– Глупость...

– Хорошая женщина, однако. Они через меня разговор вели. Говорит она мне: «Слушайте, Митя, – меня все Митей звали, – это, говорит, невозможное! Скажите, говорит, ему, что жалею его, как брата, ну, а больше ничего не может быть!» Я ему сказал, а он в ту же ночь и утопился.

– Всё это – от безделья, от воображения, – упрямо твердит Брундуков, видимо, обиженный невниманием Панашкина к нему.

Отоспавшись после праздничного отдыха и выпивки, вылезают из маленьких конурок своих слобожане – девицы и молодухи, пестрые, точно пряники, боголюбивые, злые старушки и старички. Смотрят вниз на Волгу из-под ладони заspanные речные воры, лодочники и рыбаки, В лугах – яркая заря; небо, расписанное жирными пятнами золота и багрянца, оскорбительно великолепно по сравнению с темными растрепанными людьми. Где-то, в саду, хнычет гармоника, и хриплый, но задорный голос слободской прелестницы Соньки Сапожниковой чеканит плясовую, назло всем степенным людям.

Позабыла я, как батюшку зовут,
Позабыла имя матушкино,
Помню только мило имячко одно —
За-абавушка Егорушко!

К лавке подходит глухой старик Монахов, распутник и ро-

стовщик.

– Гуляешь, дедушка Василий? – орет Брундуков, а ростовщик, удивленно подняв колючие брови, спрашивает недоверчиво:

– За што – спасибо?

– Я говорю – Василий!

– О!.. Дай-кось табачку...

– Вот погляди на него, – говорит мне Панашкин. – Пришла к нему девчонка-подросток заклад выкупать, а он ее неистово истерзал всю. За что? Сам не может объяснить. Язык, говорит, показала. Не понимаю злобы человечьей.

– Папаша, – тоном королевы приказывает Лиза, – возмите в лавке бутылку кислых шей и подайте мне в окно.

– Умирает? – спрашивает лавочник старушку, похожую на крысу.

Она отвечает ему тоном ниже:

– Умирает.

– Умрет – легче тебе станет.

– И ему, поди, легче.

– Очень просто всё, – говорит Панашкин, покашливая. –

Просто, как кирпич...

А Брундуков, провожая покупательницу, выпрашивает:

– Мишка-то – сидит?

– Сидит, пес.

– Для него – тюрьмы не жалко...

Темнеют сады, возвышаясь над забором густою тучей, в

небе догорают красные клочья облаков; мягче звуки, тише, задумчивее жизнь. Внизу, на берегу реки, тает шум дневной работы, с поля плывет осенняя грусть, наполняя сердце странными желаниями. Хочется спросить кого-то, спросить гневно: «Зачем все это? Кто смеется над людьми, искажая их?» Хочется сгореть от какого-то невыносимого, мучительного стыда. И становится еще тяжелее, когда вспомнишь вечера у Шамова...

К лавке один за другим подходят слобожане, привыкшие в праздничные вечера слушать мудрость Брундукова. Против крыльца на земле растянулся слободской вор и гуляка Ровягин, добрый, всеми любимый парень. Ему лет тридцать, но он кажется юношей, – такой стройный, свежий, кудрявый; глаза у него ясные и глупые, точно у ребенка.

– В Америке, – рассказывает Брундуков, – даже машина для занятых людей есть особая – пищу жует! Там – так работают, что и есть некогда; положат в машину всякой пищи, а она – жует.

– Вот – черти! – изумляется Ровягин, покуривая щегольскую трубку.

– А от машины везде резиновые трубки проведены, взял трубку, пососал, и – готово! – сыт! Публика смеется. Верят? Кажется, верят.

Только Ровягин спрашивает:

– Поди – не скусно?

– Там на то не глядят. Там повара по десять тысяч в год

получают! Казенные повара... Панашкин говорит мне вполголоса:

– Опровергни ты его, пожалуйста!

А лавочник рассказывает, точно читая невидимую книгу:

– Американский ученый Фукот даже землю взвесил, – тридцать два миллиона пуд потянула земля! Надул воздушный шар, огромной величины, окружил землю цепями и поднял, а она качается, вроде маятника...

Свисток парохода заглушает голос мудреца, а мне все вспоминаются вечера у Шамова. Там люди играют знаниями, точно ловкие дети мячами. Истины там отменно хороши – такие круглые, ясные, без устрашающих фантазий Брундукова, вроде жевательной машины. Там люди – гордо, как павлины, распускают пестрые хвосты своих знаний.

А здесь они облепили крыльцо лавки, точно тараканы корку хлеба. Стоят, сидят, лежат и жадно, молча питаются странной чепухой Брундукова, человека, который обладает чудесным свойством украшать всякую истину ослиными ушами.

– А бог в Америке называется Озарис...

Подталкиваемый Панашкиным, я начинаю опровергать:

– Не Озарис, а – Озирис, и это не в Америке, а – в Африке, в Египте...

– Чего? – иронически прищурясь, спрашивает Брундуков.

Я повторяю, он прерывает меня:

– Стой! Первое – в Египте живут ефиопы, и бога у них пет!

Это – раз! Второе – Озирис – слово без смысла, а – Озарис значит – сияй! Это – два! И третье – тебе рано поправлять меня, господин ни то ни се! Ты «Ниву» читал?

– Позвольте, – говорю я, но Брундуков не терпит, когда сомневаются в его знаниях, не доверяют его мудрости, – в этих случаях он иронически прищуривает рыжие глаза и, пронзая невера двумя острыми иголочками, истязует его пусторечием:

– Ты ефиопскую историю знаешь? Так я тебе скажу, что сами ефиопы языка своего не понимают, потому что у них было несколько языков, как у магометанских татар...

– Всякое сословие врет по-своему, – неожиданно вставляет Панашкин, и его слова очень веселят публику.

Но я уничтожен, а Брундуков торжествует, и снова тянутся его слова:

– Египет действительно был, но разрушен Бонапартом.

– Так-то, – тихонько говорит Панашкин, – у всякого свое умосклонение: один бредит Америкой, другой – неизвестно чем, а каждому хочется сладенького; хоть патоки, лишь бы – все-таки!

По заходе солнца Панашкин кашляет чаше и злее; он зябнет, кутается в поддевку, потертую на швах и украшенную заплатами.

Я спрашиваю его:

– А вы о чем мечтаете?

Он медленно распускает сухие губы в улыбку.

– Было бы у меня три пятиалтынных, пошел бы я в трактир, заказал бы рыблю селянку на сковородке, с перчиком да с лучком, а потом бы – пивка, эх!

– Больше ничего?

– А чего же еще на три-то пятиалтынных?

– Ну, а – кроме этого, вообще, – ничего не хочется?

Подумав немного, он отвечает спокойно:

– Поздно мне хотеть, умру скоро... Да, брат, умру!

Я молчу. Неловко мне. И не верится, что человек, прожив больше половины столетия в разной трудной работе, много испытал, умея любить и думать, – этот добрый и кроткий человек не нажил никаких желаний, освещающих жизнь, а только вот селянки с перцем хочет...

В окне, точно в раме, торчит большое лицо с опаловым глазом. Лениво двигая вялыми губами, Лиза лепечет:

– Скоро месяц взойдет, – какая прекрасная ночь для прогулки в лес...

– А рожают они ежегодно двойни, – поучает Брундуков.

Публика расплзлась; перед лавочником только Ровягин, задумчивый, как баран.

Становится темно, с востока наползает черная туча. Звезды в небе – точно шляпки медных гвоздей, – это оттого, что воздух влажен. В соде реки трепещут красные факелы – отражения огней берега и судов.

– А между прочим, для чего дастся нам жизнь? – спрашивает Панашкин и отвечает сам себе; – Чёрт знает для чего,

если подумаешь...

Меня занимает другой вопрос: кому нужна, кого веселит эта злая карикатура на жизнь?

– Ночуй у меня! – предлагает Панашкин.

– Спасибо, я иду гулять...

– Ну, валяй, иди, бродяга...

Молча прощаюсь с лавочником.

Готовясь запирать лавку, Брундуков стоит на крыльце, почесывая шею, и спрашивает сам себя:

– Отчего это у меня зубы давно не болят?